



## С. П. ШЕВЫРЁВ

### Словесность и торговля

Ты спрашиваешь у меня, мой друг, о современном состоянии нашей словесности. Ты хотел бы отдать себе отчёт в том, какую мысль выражает русское слово в настоящую минуту нашего существования? чем занята наша дума, о чём наша нравственная забота? Всё это, по твоему мнению, содержится в произведениях словесности; всё это, по мелочи, высказывается в ней, — и ты хотел бы изо всей этой массы слов извлечь одну идею — и тем определить современное направление отечественного слова. Ты думаешь, что, не разрешив себе этого вопроса, невозможно определить верно и точно ни характера частных произведений, составляющих эту общую массу словесности, ни характера писателей, из которых каждый есть частица народного ума, выраженного в слове; ты думаешь, что, не отправившись от этой точки, нельзя решить, почему такие-то роды у нас господствуют, почему такие-то сочинения особенно привлекли счастливое внимание публики, какую роль играют журналы, какой характер приняла критика? — Одним словом: по твоему мнению, только объяснив себе настоящую минуту нашей умственной жизни, определив, на какой степени мысли и образования стоит русский народ, оправдывая тем усилия славных поборников, содействовавших и содействующих к его нравственному величию, только сказав себе: о чём мы теперь думаем? — мы можем решить вопрос: что мы пишем?

Твоя точка зрения слишком высока; сойди, мой друг, с этого Шимборазо<sup>1</sup> критики. Ты взбираешься на него, чтобы полным взором окинуть всё царство русского слова, — напрасно, ты ошибаешься. На Шимборазо земли не увидишь: туманы от тебя её закроют. Нет, спустимся на землю, чтобы видеть землю; положим, что мы и не обозрим всего горизонта нашей словесности, но зато вернее определим то, что увидим около себя, вернее объясним то, что объясняется гораздо проще, нежели ты воображаешь. Начнём с самого *земляного* взгляда

на нашу словесность — и посмотрим на то, что прежде всего в глаза бросается. Конечно, это будет «Библиотека для чтения», которая двенадцать раз в прошедшем году тебе кидалась в глаза. Она — постоянная представительница живого бытия нашей словесности, представительница, носившая на своём челе венец изо всех имён, славных и неславных, составляющих почти весь круг нашего пишущего мира, но теперь сбросившая его с себя, как ненужную тягость, как лишнюю прикрасу признанного величия и могущества! Она — огромный пульс нашей словесности, двенадцать раз в году толстым томом ударяющий по вниманию читателей, — и если бы критика, этот медик литературы, захотела узнать о здоровье нашего русского слова, — за «Библиотеку» она должна взяться и по движению этого пульса судить о состоянии нашей словесности. — Но что такое «Библиотека»? Думал ли ты об этом? Рассуждал ли ты об её происхождении? Олицетворяет ли она собою какие-нибудь литературные мнения, принадлежащие известной школе? Намерена ли она представить образцы вкуса и тем направлять наше эстетическое образование? — Всё это вопросы посторонние, нимало не относящиеся к моему настоящему взгляду на нашу словесность. «Библиотека для чтения» есть просто пук ассигнаций, превращённый в статьи, чрезвычайно разнообразные, прекрасные, но более плохие, редко занимательные и часто скучные. — Ты изумляешься моему определению. — А этот новый роман, который у нас успел уже сделаться старым и долетает к вам со всею прелестью свежести и новизны, и ещё пахнет своею колыбелью — типографией? Ты хочешь связать мысль этого романа с веком, разгадать в нём черты современности, сквозь прозрачную картину отдалённой жизни, которую будто бы он изображает, прочесть думу и характер нашей эпохи? — Я смотрю совершенно иначе на этот роман. Ты видишь в нём что-то отвлечённое, а я вижу в нём гораздо более существенное, — а именно ту деревню, в которую превратил его автор.

Да, да, — мой взгляд на современную нашу литературу будет ныне совершенно материальный. На журналы я смотрю как на капиталистов. «Библиотека для чтения» имеет для меня пять тысяч душ подписчиков. «Северная пчела», может быть, вдвое. Замечательно, что эти журналы ещё в том сходятся с богачами, что любят хвастаться всенародно своим богатством. — И эти души подписчиков гораздо вернее, чем твои оброчные: за ними никогда нет недоимки; они платят вперёд, и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигнации. — Вот едет литератор в новых санях: ты думаешь, это сани. Нет, это статья «Библиотеки для чтения», получившая вид саней, покрытых медвежьёю полстью, с богатыми серебряными когтями. Вся эта бронза, этот ковёр, этот лак чистый и опрятный — всё это листы этой дорого заплаченной статьи,

принявшие разные образы санного изделия. Литератор хочет дать обед и жалуется, что у него нет денег. Ему говорят: да напиши повесть — и пошли в «Библиотеку»: вот и обед.

Одним словом: литература наша сыта, даёт обеды, живёт в чертогах, ходит по коврам, ездит в каретах, в лаковых санях, кутается в медвежью шубу, в бекешь с бобровым воротником, возвышает голос на аукционах Опекунского совета, покупает имения!.. Настал если не золотой, то самый сытный век нашей литературы. Дождались мы того счастливого времени, что статьи наши считаются за верные банковые билеты; что словесность наша имеет свой торговый дом, в котором эти измаранные билеты тотчас вымениваются на чистые печатные, всё приобретающие. Не на Парнасе сидят наши музы, не среди их, в небесах и в снегу, обитает наша словесность. Я представляю её себе владельницею ломбарда: здесь, на престоле из ассигнаций, восседает она, со счётами в руке. В огромных залах её чертогов великое множество просителей, с исписанными тетрадами в руках; билеты равно принимаются от известных и неизвестных; она всех сравнивает по уровню печатного листа, за исключением немногих прежних капиталистов; но между этими просителями нет уже ни одного героя, который осмелился бы как прежде поднять голову над всеми и объявить монополию на повесть, на роман, на поэму. Но кто невидимый герой всего этого мира? Кто устроил этот ломбард нашей словесности и взял её производителей под свою опеку? — Кто движет всею этою машиною нашей литературы? — Книгопродавец. С ним подружилась наша словесность, ему продала себя за деньги и поклялась в вечной верности.

Ты скажешь, что взгляд мой на литературу не есть взгляд критика, который отправляется от какого-нибудь начала, а взгляд светского человека или статистика, имеющий все невыгоды материальности и односторонности. Впоследствии ты узнаешь начала моей критики, на основании которых я сужу о произведениях словесности; но теперь дай мне оправдаться в твоём обвинении и показать тебе на деле, что только с этой материальной точки зрения объясняются многие события нашего литературного мира.

Начнём с форм, у нас теперь господствующих. Роман и повесть, повесть и роман — из этого круга почти не выходит наша изящная словесность. Ты думаешь, что роман и миниатюра его, повесть, есть тип, соответствующий эпохе — потому он и господствует в нашей словесности. А я думаю, что большая часть романов и повестей является у нас потому, что на них расхода больше. Явись к книгопродавцу с исторической книгой и начни с ним торговаться: он спросит с улыбкою верного ожидания: «Роман?» — и поморщится, когда ты скажешь: «История». И ты, в счастливом заблуждении, воображаешь себе, что

романисты наши в своих произведениях стремятся выразить век, характер народа или эпохи, живую картину человечества в известное время, в известном быту, в известном состоянии; ты думаешь, что вдохновение, согласно с характером эпохи, обращает их перо на роман, а не на драму, не на поэму?

— Но пусть завтра же какой-нибудь богач, из шутки, объявит в газетах, что ему стало скучно от романов и повестей; что ему захотелось старой, забытой, изношенной Херасковым<sup>2</sup> и доношенной певцом «Александрюды»<sup>3</sup> эпической поэмы, в самых строгих классических формах, с заветным: *Пою* в начале, с воззванием к Музе, в парных стихах александрийских, и пускай он пожертвует миллионом и объявит за хорошую эпическую поэму сто тысяч, за посредственную 50, за дурную 25; ты увидишь, как тотчас же вся наша изящная словесность изменит свою вывеску, как все эти современные романисты, соответствующие эпохе, вдруг обратятся в гомерических эпиков, как вновь застучит ямбом александрийский стих и как словесность наша закипит эпическими поэмами, одна другой хуже. От миллиона рублей, от шутки богача зависит переворот нашего литературного мира. Сожалею на этот раз, что я не миллионщик с лишним миллионом: я непременно бы бросил такой соблазнительный миллион на нашу словесность <...>.

Старость Европы, сделавшаяся пословицею всего образованного мира, имеет, как всякая старость, двух спутников неизбежных: опытность и разочарование. Умная, дельная опытность есть добрый плод времени, плод, который не иначе приобретается в народе, как веками жизни. Эта опытность выражается во внимательном, строгом, подробном воззрении на жизнь, которой тайны доступны только очам медлительного, испытующего времени. Эта опытность, удел лучшей стороны человечества, выражается и в словесных произведениях, в форме романа, который так дружен с жизнью, так знает её тайны до подробности и так искусно перед нами обнажает их. Вот характер настоящего, доброго романа — и вот как, по моему мнению, роман и повесть согласуются с эпохой европейской жизни. Но вместе с опытностью старости соединено бывает, как я сказал, разочарование, которым выражается худшая сторона человечества. Это разочарование есть также плод времени, плод дурной, но, к сожалению, неизбежный; это изнанка престарелой опытности, без которой старость обойтись не может, потому что человек не только духовен, но и материален, а материя имеет конец, — материя приедается. Старик всё узнал, но редко с этим всезнанием сохраняет он свежесть неопытного возраста; это разочарование ветшающей жизни — вот другое лицо европейского романа, выразителя эпохи престарелой, лицо неприятное, эти неизбежные морщины и жёлтый цвет

старости, лицо или запечатлённое холодным отчаянием и безверием, или обезображенное судорогами испорченных нервов. — Вот характер другого рода романов европейских и большей части произведений словесности, напрасно называемой юною<sup>4</sup>, потому что она носит на себе все признаки ветхости разочарованной, — и одновременное явление их с произведениями практическими и дельными, о которых я говорил прежде, объясняется только неизбежною современностью опытности и разочарования в преклонных днях человечества. У нас в литературе нет ещё вековой опытности, но, слава Богу, нет и разочарования; потому не могут быть у нас оригинальные романы ни в том, ни в другом роде, а могут быть только подражания. Но так как гораздо легче подделаться под холодное разочарование, чем под умную и дельную опытность, гораздо скорее можно создать или мечтательный призрак без жизни, или уродливый образ ужаса, чем форму спокойной красоты, и таким созданием легче уловить наше детское воображение и раздражить любопытство, — то наши пишущие спекуляторы и дарят нас, по большей части, романами в роде разочарованном или ужасном. Вот как объясняется и характер, и художественные идеи большей части наших романов и повестей, и объясняются гораздо вернее, чем с высокой точки зрения, с огромных подмостков идеализирующей критики!

Ты смотришь на разочарованный, ужасный роман как на тип эпохи, — а я смотрю на него у нас как на литературную спекуляцию на счёт нашего воображения, сердца и вкуса. Отчего нам быть разочаровану? Мы бодры, мы исполнены надежд и силы; мы, к счастью, не испытали никаких ужасных потрясений. Нервы наши крепки; впечатления не притуплены наслаждениями; вкус наш девствен. И мы томимся чужим разочарованием, чужою скукою! Мы, как больные в воображении, хвораем не своею болезнию! Мы, свежие и нетронутые, считаем себя пресыщенными — и раздражаем свой язык, будто уже притупленный, ненужными приправами ужасного! — И всё это почему? — Потому что нашим спекуляторам-романистам угодно играть над нами такую мистификацию! Потому что им легче выводить нам, как детям, страшные китайские тени или выкидывать фокус-покус, чем схватить жизнь как она есть, *en flagrant delit*\*, и рисовать с неё верную картину, проникнутую одушевлением мысли!

Ты видишь, что не только господство форм, но и самый характер произведений, и художественные идеи объясняются весьма легко с моей материальной точки зрения. Пойдём далее. Знаешь ли, что отсюда же объясняется отчасти и тайна нашего современного слога? — Почему он так кипит эпитетами и глаголами? Куда девалась заветная краткость,

---

\* На месте преступления (*фр.*). — *Ред.*

о которой проповедовал Гораций и с его голосу все риторы? Посмотри, как наш писатель то, что можно сказать одним словом, выражает предложением, а предложение, достаточное для мысли, вытягивает в длинный-предлинный период, период в убористую страницу, страницу в огромный лист печатный? Слог его похож на эту проволоку, о которой ты слышал от твоего профессора физики, когда он говорил тебе о бесконечной делимости. Этот слог, как проволока, может до бесконечности вытягиваться. — Но в чём тайна всего этого? — В том, что цена печатного листа есть 200 или 300 рублей; что каждый эпитет в статье его ценится, может быть, в гривну; каждое предложение есть рубль; каждый период, смотря по длине, есть синяя или красная ассигнация!.. Как же не дорожить ему после этого всяким словом, когда из этих слов составляются не периоды, а ассигнации? — Как после этого автору вымарать страницу, им написанную? Кто сожжёт ассигнации, кроме сумасшедших богачей? — Я помню даже где-то пример одного автора, который, будучи недоволен своей страницей, просит своего читателя её вымарать, если ему угодно<sup>5</sup>; ты уж, верно, не спросишь, зачем же он её напечатал? — когда тебе ясно, что эта страница есть часть 300 рублей! Кто подымет руку на своё добро?

Итак, болтливость нашего слога, бесконечные плеоназмы<sup>6</sup>, необделанные периоды, ряды синонимов: существительных, прилагательных и глаголов на выбор, все эти свойства скорописи, одолевающей нашу литературу, имеют начало своё в том, что ныне слова деньги, — и слог чем грузнее, тем выгоднее. От такого слога растёт статья, толстеют листы книги, вздувается самая книга, как калач у пекаря, наблюдающего выгоды припёки. Извини, что мое сравнение пахнет дымом пекарни, но оно вполне выражает мысль мою.

Да, друг мой, торговля теперь управляет нашею словесностью — и всё подчинилось её расчётам; все произведения словесного мира расчислены на оборотах торговых; на мысли и на формы наложен курс!.. Умолкло вдохновение наших поэтов. Поэзия одна не покоряется спекуляции. В то счастливое время, когда каждый стих оценён в червонец, стихи нейдут!.. Тщетно книгопродавец сыплет перед взором поэта звонкие, блестящие червонцы: не зажигается взор его вдохновением, Феб не внемлет звуку металла. Изредка, в пустыне прозы наших журналов, прозвучат бывалым звуком стихи вдохновенные — и всё это мгновенно, всё отрывочно! Но зато на призыв шумного дождя червонцев сыплет, как шумный ливень, наша периодистая, многословная проза — и заливает всякую мысль, всякое вдохновение на почве нашей словесности. И по этой слякоти многословия, лишённого мысли, тянутся длинным обозом наши однообразные романы и повести и достигают своей цели на книжных рынках! — Почему же поэзия молчит среди этой осенней

ярмарки? — Потому, что только её вдохновение не слушается расчёта: оно свободно как мысль, как душа.

Ты упрекнёшь меня в том, что я нападаю напрасно на то, что словесность наша породнилась с торговлею: это свидетельствует нам только об успехах отечественного просвещения; это показывает, что словесность сделалась у нас потребностью народа, что жажда к чтению, этот первый признак образования, более и более распространяется по всем пределам нашей России, по всем сословиям нашего общества. Не спорю против этого. Правда: торговое направление нашей литературы служит для нас утешительным свидетельством того, как с каждым годом более и более разливается образование по народу русскому; как потребность книг становится ощутительнее; как публика наша, ревнительная к просвещению, алчущая умственной пищи, великодушно награждает всякое литературное предприятие, всякий труд, даже иногда и не стоящий её щедрой награды.

Благодаря этой жажде к образованию звание литератора сделалось у нас не только почётным званием, но и званием выгодным. Теперь литератор не есть уже бесприютный бобыль нашего общества. Литератор есть уже капиталист, которого умственный капитал имеет ещё ту выгоду, что не может никак подвергнуться вычислениям и временным условиям торгового баланса, — который вдруг, неожиданно, даёт несбыточные проценты! — Одним словом, литератор у нас получил собственность. Он щедро награждён за труды свои, и это есть благодатное следствие просвещения, которое, ко славе России и не во гнев Европе, сделалось её народным достоянием.

И благодаря всенародности нашего просвещения словесность пустилась в торговые обороты, — и это её состояние есть, как мне кажется, самая замечательная её сторона в наше время, показывающая новые её отношения к нашему обществу. Но состояние перехода во всяком образовании и развитии всегда бывает вредно; тем вреднее оно тогда, когда в этом переходе сталкиваются две стихии совершенно противоположные: умственная или духовная — какова словесность; материальная — какова торговля. Там, где мысль и выгода дружатся между собою и хотят ужиться вместе, там всегда неизбежны нравственные злоупотребления: ибо чистая мысль всегда марается об нечистую выгоду. — Конечно, литератору приятно трудиться теперь в той спокойной уверенности, что его состояние обеспечено, что общество, чувствуя в нём потребность, содержит его своими деньгами за труды его ума; литератор может теперь ощущать эту сладость беспечности, этот вес труда своего и осязать успех у себя на столе; — но кто не сознается, что литератор, в своей славной бедности, был честнее и вдохновеннее? Он имел жажду к славе, от которой разгоралась душа его, и не имел жажды к деньгам,

от которой она ржавеет. Когда звание его было бедно, когда он ходил в благородном своём и чистом рубище, — на это рубище не кидался какой-нибудь непризванный торгаш! Под маскою литератора не выходил какой-нибудь спекулятор, какой-нибудь искатель приключений, которому литература всё то же, что балаган для фокусника!

Этот переход, это сочетание литературы с торговлею давно уже совершилось в Европе; но там оно вошло уже в обычаи. У нас же это состояние ещё совершенно ново. В такое время всегда бывает кстати появление предприимчивого, деятельного, щедрого книгопродавца, который не любит, чтобы капитал его застаивался, который охотно катает его в разные стороны, который понял, что торговля как река: чем полноводнее и быстрее, тем легче носит суда с товаром. Честь и слава такому книгопродавцу, который явится на призыв торговой эпохи в словесности, явится с полными мешками денег, с верною сметливостью, с великодушием благородного риска! Его имя запишется также в истории словесности и народного образования. Числом книг, им изданных, будет измеряться его слава. Какою бы пружиною он ни был движим — в его деятельности, хотя бы основанной на частном интересе, заключается зародыш великой народной пользы. Купец должен быть корыстен; но тот купец уже бескорыстен, который не любит, чтобы у него лежали деньги. — У нас есть такой книгопродавец: нечего именовать его, потому что он один, к сожалению<sup>7</sup>.

Книгопродавец имеет всё право смотреть на словесность как на торговую спекуляцию; имеет всё право смотреть на литераторов как на пишущие машины и приводить их в действие деньгами — этими вседвижущими парами физического и умственного мира; он имеет всё право заводить журналы в роде литературных фабрик, сзывать поставщиков, объявлять торги — и заводить всё коммерческое в словесности. Но книгопродавец купит всю литературу, а не создаст её. Вся вещественная махина её в руках у него, — но у него нет ни одной мысли — и потому сбыт литературы ему принадлежит, но не успех. Сбыт есть плод торгового оборота — и венец книжной торговли. Успех есть плод мысли — и венец для самолюбия литератора. Успех со сбытом бывают всегда дружны; но они оба, как выгоды частных лиц, должны подчиняться другому, высшему успеху — то есть нравственному успеху общества. Тот успех ещё неверен и непрочен, который подтверждается одним сбытом; но тот только успех бывает обеспечен славой, который подвигает вперёд образование, который содействует распространению изящного вкуса, полезных сведений, благотворных мыслей, который основан на чистом нравственном и изящном впечатлении. Наружный успех, оцениваемый сбытом, можно вычислить и найти ему конец, потому что он есть плод полулитературного, полуторгового расчёта; но успех



истинный не подвергается никакому вычислению, потому что мысль, которой он есть плод, живёт бесконечно и не вычисляется. Оценка этого успеха есть дело благонамеренной критики.

Благородная задача литератора состоит в том, чтобы свой успех, который одушевляет его при труде, не только согласить, но и подчинить нравственному успеху общества; чтобы не основать своей временной славы на развращении мысли, нравственного чувства и вкуса общественного. Литературные спекуляторы не думают об этом: им нужен только тот успех, который поверяется сбытом и расчётом с типографией и книгопродавцем.

Благородная задача книгопродавца, разрешение которой зависит от его благонамеренности, равным образом состоит в том, чтобы согласить сбыт с успехом образования. Как часто зависит от книгопродавца дать ход тем произведениям, от которых нравственный успех общества подвигается вперед! Конечно, тут главный виновник и двигатель автор, но книгопродавец может быть ему верным помощником. <...>

